

Дмитрий КАПУСТИН

АНТОН ЧЕХОВ: И СНОВА НИЦЦА, А ВМЕСТО АФРИКИ — ИТАЛИЯ (1900—1901)¹

В конце лета 1900 года из писем Чехова становилось ясно, что он опять «задумал свой побег» — четвертый раз в Европу. Писатель сообщал адресатам о намерении побывать в Париже и поехать на юг Франции, а 9 августа в письме издателю А. Ф. Марксу уточнил: «Скоро я еду за границу, уеду надолго»².

Деньги на этот раз были: в январе 1899 года Чехов продал за 75 тысяч рублей Марксу права на издание полного собрания своих сочинений (причем даже тех, которые напишет в будущем), получив сразу треть суммы, а остальные получал частями. Теперь Чехов был куда свободнее в деньгах. Буквально осенью предыдущего года им был куплен в рассрочку участок земли в Аутке, на окраине Ялты, и началось строительство дома. Была продана, хотя и с трудом (и тоже в рассрочку), усадьба в Мелихове со всеми постройками и мебелью. При полном аншлаге в Художественном театре шел «Дядя Ваня» (за сезон 1899 года Чехов заработал 3 тысячи). Были доходы и от других постановок и изданий. В частности, в 1999 году он закончил и вскоре опубликовал сразу два своих шедевра — «Даму с собачкой» и «В овраге». Деньги в семье Чеховых особенно не задерживались, но на счету писателя в ялтинском банке лежало 9 тысяч рублей, о чем родственники, вероятно, и не знали.

С конца августа 1899 года Чехов переселился в свой новый дом, обретая новое «право оседлой жизни», в том числе и для своей матери. Но дом был еще не вполне готов для проживания, долго шли достройки и доделки, работы на садовом участке. Всю зиму пересылались новая мебель и вещи, причем зачастую кружными путями по морю. Оказалась неудачной система отопления: печи не прогревали дом в холода, а при сильном ветре дымили. Без конца выходил из строя водопровод.

Домашние трудности дополнялись скверной погодой и тяжелыми местными проблемами. 10 марта Чехов, как всегда, откровенно описал их Суворину: «Ни одна зима

Дмитрий Тимофеевич Капустин родился в 1942 году в Москве. Окончил МГИМО, востоковед-международник, кандидат исторических наук. Автор книг и статей по международным отношениям на Дальнем Востоке. В сфере его увлечений и научных интересов входит также творчество и биография А. П. Чехова. По этой теме опубликовал ряд статей и две книги: «Антон Чехов на Востоке. Сборник статей». Saarbrücken. Lambert Academic Publishing. 2012. 264 с. (на русском языке); «Азиатское путешествие Антона Чехова. 1890 год». М.: Этерна, 2014. 280 с.

¹ Завершение цикла «Чехов в Европе». Путешествие четвертое. Начало см.: Нева, 2018, № 1, 7 и 10.

² Письма цитируются по Полному собранию сочинений и писем А. П. Чехова (1974—1983) — далее ПССиП. Даты писем по старому стилю указаны в тексте.

не тянулась для меня так долго, как эта, <...> и теперь я понимаю, как я глупо сделал, оставив Москву. Я отвык от севера и не привык к югу, и ничего теперь не придумаешь в моем положении, кроме заграницы. После весны началась здесь в Ялте зима; снег, дождь, холодно, грязно — хоть плюнь. <...> Как много здесь чахоточных! Какая беднота и как беспокойно с ними! Тяжелых больных не принимают здесь ни в гостиницы, ни на квартиры, можете же себе представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заброса — и это в благословенной Тавриде. Потеряешь всякий аппетит и к солнцу, и к морю».

И все же, несмотря на это, писатель усердно работал этой зимой, в том числе над первыми томами собрания своих произведений у Маркса и набросками к новой пьесе, заноса их в записные книжки и на отдельные листки. Но чувствовал себя одиноко. Сестра Мария еще не вступила тогда в права хозяйки «Белой дачи», так как не могла бросить свою работу в Москве и найти новую в Ялте. Донимали и всякие сопутствующие болезни: Чехов «всю зиму провозился с геморроем» и даже подумывал об операции, без должного ухода мучился и от «катара желудка». В конце февраля 1900 года ялтинский доктор И. Н. Альтшуллер (кстати, сам болевший туберкулезом, но проживший до 73 лет) обследовал Антона Павловича и нашел, что его правое легкое чистое, а левое стало хуже.

Но, по-видимому, туберкулезный процесс у Чехова в тот период все-таки стабилизировался, что даже Суворин отмечал со слов самого писателя, что зимой у того было «одно кровохарканье, и то маленькое». Вполне определенно о пользе крымского климата Чехов-доктор написал Л. А. Авиловой 29 октября: «В Крыму жить вообще очень скучно и неудобно, но несомненно, что, несмотря ни на скуку, ни на неудобства, жить в Крыму очень здорово и чахоточные поправляются очень быстро, как это ни странно <...>. Из докторов рекомендую Альтшуллера, русского земского врача, проживающего в Ялте по болезни. Это хороший доктор и хороший советчик».

Сердечный роман с актрисой Художественного театра Ольгой Книппер в течение 1900 года был в разгаре, но затянутым. Они познакомились за два года до этого. Ольге было 30, она происходила из обрусевшей немецкой семьи, практически с момента создания находилась в труппе МХТ. Взаимная симпатия Ольги и Антона к тому времени переросла в глубокое искреннее чувство. Они уже не скрывали своей близости. Хорошо знавшие обоих говаривали, что их брак — «дело решенное». Один только совместный шестинедельный отдых в новом ялтинском доме летом многое значил. Маша и мать Евгения Яковлевна даже переселились временно на чеховскую мини-дачу на гурзуфском мысу.

Но предложения руки и сердца не последовало, и Ольга, судя по ее письмам Маше (с которой очень сблизилась в этот год), страдала от неопределенности. Чехов в одном из писем Ольге (27 сентября) откровенно объяснился: «По письму твоему судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора — с серьезными лицами, с серьезными последствиями; а я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, т. е. что я тебя люблю — и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству».

Работа над новой пьесой той осенью продвигалась туго. «Все время сидел над пьесой, больше думал, чем писал», — в письме О. Книппер от 5 сентября. Мешало и нездоровье, когда «просто ничего не делал». «„Трех сестер“ писать очень трудно, труднее, чем прежние пьесы, — признавался он в письме сестре 9 сентября. — Ну, да ничего, авось выйдет что-нибудь, если не в этом, то в будущем сезоне. В Ялте, кстати сказать, <...> и мешают, да и все кажется, что писать не для чего, и то, что написал вчера, не нравится сегодня». В этом же письме он делился своими дальнейшими планами: «Ве-

роятно, в Москве я буду после 20-го сентября <...>. Из Москвы я поеду — куда? Неизвестно. Сначала в Париж, а потом, вероятно, в Ниццу, из Ниццы — в Африку. Как-нибудь протяну до весны, до апреля или мая, когда опять приеду в Москву».

Наконец пьеса была закончена. «Можете себе представить, написал пьесу, — сообщил писатель Горькому 16 октября. — Но так как она пойдет не теперь, а лишь в будущем сезоне, то я не переписал ее начисто. Пусть так полежит. Ужасно трудно было писать „Трех сестер“. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочки! Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми, среда — военные, артиллерия. Погода в Ялте чудесная, свежая, здоровье мое поправилось. В Москву даже не хочется ехать отсюда, так хорошо работается и так приятно не испытывать в заднем проходе зуда, который был у меня все лето. Я даже не кашляю и даже ем уже мясо. Живу один, совершенно один. Мать в Москве».

23 октября Чехов приехал с рукописью в Москву. И завертелась московская жизнь: встречи с родными и друзьями, походы в театры, работа с корректурой для Маркса, дни нездоровья. «Меня рвут на части, в клочья», «треплюсь по городу до 3-х ночи», — признавался он. Почти сразу по приезду была устроена читка пьесы перед труппой театра. Вскоре даже начались репетиции первых двух действий, но Чехов решил кое-что изменить в двух других и доработать пьесу в Ницце. «Приехал сюда дня на три, самое большое — на неделю, а застрял почти на два месяца», — сетовал он позднее Н. П. Кондакову, знакомому по Ялте (крупному ученому-византологу).

Возможно, как и в прошлые поездки, он хотел бы видеть своим спутником в предстоящем путешествии Суворина (хотя бы временным), а потому написал ему 16 ноября: «Я в Москве. Был здоров, даже очень, а теперь опять стал покашливать. Пора уезжать. Если Вы телеграфируете мне, что теперь или через неделю будете в Москве, то я не уеду, а подожду. <...> Написал пьесу „Три сестры“ и уже отдал ее в Художественный театр. Пишу повести — одним словом, все по-старому. Вы слышали, что я женюсь? Это неправда. Я уезжаю в Африку, к крокодилам. Итак, буду ожидать телеграммы».

Суворин компанию не составил. Только 10 декабря поездом через Брест писатель наконец выехал в Вену.

Дежавю в Ницце

А в австро-венгерской столице — полная неожиданность: католическое Рождество, в общем-то довольно скучное для русских, тем более что билеты в театры все раскуплены, а столики в ресторанах давно заказаны. Чехов упустил из виду разницу в 13 дней с европейским календарем. «Милая моя, какого я дурака сломал! — написал он Ольге Книппер на другой день. — Приехал сюда, а здесь все магазины закрыты, оказывается — немецкое Рождество! И я не солоно хлебавши сижу теперь в номере и решительно не знаю, что делать, что называется, дурак дураком. Дорожных ремней купить негде. Одни только рестораны отперты, да и те битком набиты франтами, около которых я показался бы просто замарашкой. Ну, да что делать! Завтра я уезжаю в Nice, а пока с вождением поглядываю на две постели, которые стоят у меня в номере: буду спать, буду думать! Только обидно, что я здесь один, без тебя, баловница, дуся моя, ужасно обидно». И дорожная зарисовка из письма: «От Бреста до Вены нет снега. Земля сегодня кислая, как в марте. Непохоже на зиму. Спутники у меня были скучные».

Чехову не понравился и отель «Бристоль», в котором велела остановиться Ольга — «лучший в Вене; дерут чертову пропасть, не позволяют в ресторане читать газеты, и все разодеты такими щеголями, что мне было стыдно среди них». А в общем на этот раз впечатления о Вене резко отличались от восторгов первого приезда сюда в 1891 году. На следующий же день он выехал из Вены «на express'e в I классе», в отдельном купе — «лутили чертовски, как птицы».

А в Ницце все так, как уже когда-то было: тот же Русский пансион на rue Gounod, 9 с «мордемондиями» и «скучной публикой», удивительно тепло («после Ялты здешняя природа и погода кажутся просто райскими»), зеленая травка, «розы и цветы всякие», поспевающие апельсины («даже глазам не верится»). А по утрам, как и ранее, чтение газет у моря, и те же бродячие певцы и музыканты, как когда-то, то и дело заходящие во двор. И компания друзей ужасно знакомая: профессор Ковалевский, вице-консул Юрасов, биолог Коротнев и художник Якоби. И даже номер в пансионе как будто тот же — угловой, на втором этаже, но с другой атмосферой на этот раз: «У меня здесь две комнаты: одна большая, другая — поменьше. Постель такая, что когда ложишься в нее, то всякий раз непременно улыбаешься; удивительно мягко и широко. <...> Часто вижу тебя во сне, а когда закрываю глаза, то вижу и наяву. Ты для меня необыкновенная женщина».

Какое, казалось бы, обиденное, но пронзительное признание! Как оно отличается от тех, что он писал когда-то и Лике Мизиновой, и Авиловой, и Хотяинцевой и многим-многим другим своим симпатиям.

15 декабря Чехов написал Ольге, своему главному адресату тех дней: «Милая моя, как это ни странно, но у меня такое чувство, точно я на луну попал. Тепло, солнце светит вовсю, в пальто жарко, все ходят по-летнему. Окна в моей комнате настезь; и душа, кажется, тоже настезь. Переписываю свою пьесу и удивляюсь, как я мог написать сию штуку, для чего написать».

Душа настезь... «Настроение совсем летнее, точно помолодел лет на десять»... «В Африку, вероятно, не поеду, ибо и здесь хорошо. И работается...» Редкие признания этих дней. В отличие от зимнего «стояния в Ницце» 1897—1898 годов Чехов сразу принялся за работу, за свою новую пьесу. Здоровье, видимо, тоже позволяло. Уже на другой день он переписал и отослал в Художественный театр третий акт «Трех сестер» (именно для него пьеса и писалась), а два дня спустя и четвертый. С Ольгой он делился подробностями (17 декабря): «В III я изменил лишь кое-что, а в IV произвел перемены крутые. Тебе прибавил много слов. (Ты должна сказать: благодарю...) А ты за это пиши мне, как идут репетиции, что и как, все пиши».

Чехов знал, что Станиславский спешил скорее поставить пьесу, и, видимо, догадывался о трудностях постановки. Он щепетильно относился к каждой фразе и старался донести авторские нюансы до постановщиков и актеров. (Как известно, доработка и исправление текста «Трех сестер» продолжалась до 1902 года, даже после публикации в «Русской мысли» в 1901 году.) Буквально через день после отправки в театр доработанных актов пьесы Чехов написал Немировичу-Данченко: «В III акте последние слова, которые произносит Соленый, суть: (глядя на Тузенбаха) „Цып, цып, цып...“ Это прибавь, пожалуйста». И почти в каждом письме просил Ольгу: «Пиши, что на репетициях и как, нет ли каких недоразумений, все ли понятно». Просил описать «хоть одну репетицию».

Кстати, вскоре (вероятно, 25 или 26 декабря) в Ментону (30 км от Ниццы, на границе с Италией) приехал сам Владимир Иванович, но плотно пообщаться в творческом плане им не удалось, хотя и были несколько встреч, в основном в компаниях. Чехов, кажется, обиделся: «Немирович был в Ментоне, величественно прожил в Hotel Prince de Galles, величественно никого и ничего не видел и сегодня уезжает (6 января. — Д. К.)». Или же отшучивался, мол, «Катишь (жена. — Д. К.) не отпускает его ни на шаг от себя, и я его поэтому не вижу». Но, скорее всего, «отстраненность» Немировича-Данченко объяснялась тем, что в Ментоне лечилась от чахотки его сестра. Чехов ранее посетил ее (26 декабря) и написал в письме Ольге: «скоро умрет». Следует подчеркнуть, что Владимир Иванович и Антон Павлович находились в добрых дру-

жеских и творческих отношениях. Известен такой факт: когда в 1896 году Немировичу-Данченко присудили Грибоедовскую премию за пьесу «Цена жизни» (он был востребованным тогда драматургом и прозаиком), то лауреат, прочитав опубликованную в тот же год «Чайку», отказался получать эту премию, объявив, что «Чехов — это талантливый я».

Между прочим, возвратившись в Москву, именно Владимир Иванович пришел на помощь «уставшему» Станиславскому, причем «вошел в пьесу хозяином» и готовил «Трех сестер» к премьере. Но Чехов ничего не ведал об этом и продолжал жаловаться: «Мне никто ничего не пишет о пьесе, Владимир Иванович, когда был здесь, молчал, и мне казалось, что пьеса надоела и не будет иметь успеха» (И. А. Тихомирову, актеру МХТ, 14 января).

Завершение главных трудов позволило писателю шире оглянуться вокруг. В частности, Чехов побывал в отеле «Beau-Rivage», на самом побережье, и вспоминал, как с Сувориным останавливался в нем в 1891 и 1894 годах. И докладывал тому 19 декабря: «Был в столовой, в читальне — все как было. Жизнь здесь совсем не такая, как у нас, совсем не такая... И богаты чертовски, и здоровы, и не старятся, и постоянно улыбаются». Приглядывался и к соотечественникам: «Встречаю русских. Они здесь какие-то приплюснутые, точно угнетены чем-то или стыдятся своей праздности. А праздность вопиющая».

Наступило время и для рулетки, для поездок в казино Монте-Карло, тем более что неожиданно резко похолодало. Чехов жаловался, что его «ломает», «спина болит». «А на улицах народ веселый, шумный, смеющийся, не видно ни исправника, ни марксистов с надутыми физиономиями <...>, — написал Л. В.Средину в Ялту 26 декабря. — Но дня два назад вдруг неожиданно пристукнул мороз, и все поблекло. Никогда здесь морозов не бывает, и откуда взялся этот мороз, совершенно непонятно». Первая игра в казино оказалась неудачной — «проигрался». Судя по всему, Чехов играл «по-маленькому» и нечасто. Тем не менее пару раз сообщал своим адресатам о неплохих выигрышах — в 295 и 500 франков. Но все-таки желание развлечься руководило им, а не азарт, как в былые годы.

А 30 декабря — неожиданное признание в письме Ольге: «Мне уже захотелось в Россию. Не вернуться ли мне домой в феврале? Как ты думаешь, ангел мой?» Этот мотив стал появляться в письмах разным адресатам все чаще.

Находясь вдали, Чехов постоянно заботился о родных и о доме, поздравил родичей, а также друзей с Новым годом и Рождеством. Отдавал конкретные распоряжения, как переделать печи в ялтинском доме, окопать землю около каждой розы, и спрашивал, что думает Арсений (садовник) «насчет навоза» и «вообще что делается в саду».

Публика в Русском пансионе ужасно надоела писателю. Он даже подумывал перебраться в другой отель, «какой-нибудь бойкий и многолюдный». В письме Ольге от 6 января Чехов объяснял причину: «Здесь, в Pension Russe, я изучал киевских профессоров — опять хоть комедию пиши! А какие ничтожные женщины, ах, дуся, какие ничтожные! У одной 45 выигрышных билетов, она живет здесь от нечего делать, только ест да пьет, бывает часто в Monte-Carlo, где играет трусливо, а под 6-е января не едет играть, потому что завтра праздник! Сколько гибнет здесь русских денег, особенно в Monte-Carlo».

2 января 1901 года Чехов пишет сразу два письма Ольге Книппер. Возможно, он очень скучал, а возможно, надеялся, что дойдет до адресата хотя бы одно из них. Дело в том, что в эти дни он просто неистовствовал, потому что часто не получал ответных писем от родственников и любимой. Позднее недоразумение выяснилось: их ошибочно получал (а некоторые и вскрывал) другой человек, живший в пансионате, некто Чертков. Оба письма весьма важны для понимания жизни и творчества писателя.

Чехов вновь просил описать «хоть одну репетицию» новой пьесы, в которой Ольге предназначалась роль одной из сестер — Маши. Он спрашивал: «Не нужно ли чего прибавить или что убавить?» Очевидно, что он имел в виду не только ее роль, но пьесу в целом, тем самым подтверждая, что ее текст вовсе не окончательный. А что касается самой роли, то он давал точные указания: «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене, во время разговоров. Понимаешь?»

Следует подчеркнуть, что в эти ницские дни автор пьесы давал свои советы многим будущим исполнителям ролей в «Трех сестрах», а также постановщикам (вплоть до мизансцен). Они служат замечательным материалом для исследования первоначальных авторских замыслов драматурга.

Оба письма являются также свидетельством «трудной любви» двух незаурядных, уже не молодых людей. «Супружница моя» — прямо называл Чехов Ольгу Книппер³. Найденные им слова и ответные письма Ольги могут казаться ныне старомодными и слащавыми, но это слова, идущие из глубин души. «Целую тебе обе руки, все 10 пальцев, лоб и желаю и счастья, и покоя, и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет. Я тебя обнимаю, как бы ни было», — это в одном письме. И в другом: «Я тебя люблю, но ты, впрочем, этого не понимаешь. Тебе нужен муж, или, вернее, супруг, с бакенбардами и с кокардой, а я что? Я — так себе. Как бы ни было, все-таки я целую тебя крепко, обнимаю неистово и еще раз благодарю за письмо, благословляю тебя, моя радость. Пиши мне, пиши. Умоляю!!»

Ольга ответила сразу, на оба письма отдельно.

7-ое янв. 1901 г., утро

Почему ты мне в последнем письме пишешь, что я не понимаю, что ты меня любишь. <...> Ты думаешь, я не чувствую, что ты меня любишь? Наоборот, дорогой мой, я убеждена, что меня никто так не любил и не будет любить, как ты. <...> Я рада, что тебе там хорошо и тепло. Хотела бы перелететь к тебе хоть на несколько часов, поболтать, обнять тебя, поцеловать, потреть, за волосы — о pardon, academicus! И подурить хочется с тобой. Но ведь это все будет, да? Пока мысленно проделываю. <...> Целую, обнимаю и люблю.

Твоя — кто?

9-ое янв. 1901 г., 1 ч. Ночи

Сегодня размечали 4-ый акт. Ты мне много прибавил, милый, но трудно ее играть. А роль сильно нравится. Станиславский за 3-й акт сказал, что я кармениста, надо более сонную и сдержанную. Декорация 4-го очень нравится. Завтра ждут Немировича, что-то он скажет. Думают первый раз играть 24-го. <...>

Не понимаю, куда деваются мои письма к тебе. Я пишу почти каждый день, больше 2-х дней не пропускала. Спрашивай на почте <...>. Спасибо тебе за поцелуй и за благие пожелания. Почему ты думаешь, что я не могу любить в продолжение 15-ти лет? Ах ты мой Тото, Тото! А ты меня уже не можешь разлюбить? И не стыдно тебе этим заниматься, великий писатель земли русской? Путаться с актрисами? Ну все-таки получай крепкий разгорячий поцелуй.

Твоя собака⁴

³ Антон Павлович и Ольга Леонардовна обвенчались вскоре — 25 мая 1901 г.

⁴ Переписка А. П. Чехова с О. Л. Книппер. В 2 т. М.: Искусство, 2004, с. 124, 126.

Как видим, Ольга была настроена на ту же духовную, любовную и творческую волну, ответила легко, искренне, с долей юмора. Она тоже верила, что их любовь может продолжаться еще лет 15. Оба они не знали, что для нее осталось всего три года...

В Африку! В Африку!

7 января Чехов написал Ольге несколько неожиданное: «Мне здесь уже надоело жестоко. <...> Очень возможно, что 15 янв. я поеду в Алжир. <...> Хочу поглядеть на Сахару. <...> Твой Тото, потомственный почетный академик». Из последующих писем выяснилось, что писатель уже договорился с друзьями, Ковалевским и Коротневым, о поездке в Африку, но этому препятствовало только одно — разбушевавшееся море.

Как известно, мечта посетить Африку давно превратилась у Чехова в идеал-фикс. Об этом он страстно мечтал едва ли не с юношеских лет. Однажды, пусть кратко, даже вступил на ее землю в Порт-Саиде в 1890 году во время своей «азиатской кругосветки». Но этого было явно недостаточно. Писателя влекла глубинная Африка: тропические джунгли, пески Сахары, финиковые пальмы и крокодилы. В доме Чехова всю жизнь хранилась любопытная фотография, приобретенная в Порт-Саиде, «Нубия. Поимка крокодила».

«Феномен Африки» даже стал литературным явлением в творчестве Чехова, в пьесе «Дядя Ваня», наподобие знаменитого «чеховского ружья» на стене в первом действии. В пьесе неосуществленную мечту юности Ивана Войничко отражает карта Африки, когда-то давно повешенная им в конторе имения, а теперь, «видимо, никому здесь не нужная» (по авторской ремарке к последнему действию), то есть символ неосуществленной мечты и — даже шире — никчемной жизни.

«Африканская мечта» самого писателя позднее едва не осуществилась в 1898 году, когда он также был в Ницце и задумал путешествие вместе с тем же Ковалевским. Оно не состоялось, но мечта не отпускала и на этот раз. Две недели друзья-путешественники буквально ждали у моря погоды. «Теперь я здоров вполне. В Алжир собираемся, но едва ли скоро поедем, так как море беспокойно. Сегодня, например, буря», — сообщал он Ольге 17 января. А три дня спустя ей же: «Меня уже потягивает из Ниццы, хочется уехать. Но куда? В Африку пока нельзя, потому что море бурное, а в Ялту не хочется. Должно быть, во всяком случае в феврале я уже буду в Ялте, а в апреле — в Москве, у своей собаки. И потом из Москвы уедем куда-нибудь вместе».

26 января наступил «день X», когда решался вопрос ехать или не ехать. В этот день Чехов написал четыре письма, в трех из которых он писал, что, «вероятно, сегодня» уеду в Алжир, а в одном даже называл время — «12 часов ночи». «Из Алжира я двинусь в Ялту, там посижу с месяц, а потом уеду куда-нибудь со своей собакой, — сообщал он Ольге Книппер. — По слухам, идущим от моих спутников (Максим Ковалевский и биолог Коротнев. — Д. К.), пробуду я в Алжире недели две, включая сюда и время, которое я потрачу на поездку в Сахару. Из Сахары вернусь я тропически знойным, пыльным адски. <...> Если, мамуся моя, вечером начнется на море волнение, тогда, поинюясь спутникам своим, поеду не в Алжир, а в Италию, в Неаполь — и об этом напишу тебе не позже, как сегодня вечером. В Марсель буду ехать всю ночь... бррр! Но, однако, у меня воспрянул дух мой, люблю я путешествовать. Моя мечта последних дней — поездка на Шпицберген летом или в Соловки».

А вот в четвертом, последнем письме в этот день, написал сестре, что «уезжает не в Алжир, а в Италию»: «По Италии я поверчусь недели две, а потом поеду в Крым». Очевидно, что погода все-таки помешала путешественникам. Причем даже российское консульство предостерегало писателя от поездки. И уже на следующий день он писал из Пизы, знаменитой своей «падающей башней»: «Милая Маша, видишь, я в Ита-

лии. <...> Здесь прохладно, пахнет зимой, но интересно и потому весело». Любопытно, что данное послание было отправлено на открытке с изображением Grand Hôtel Nettuno в Пизе (Неттуно — морской курорт близ Рима), с чеховской пометкой «суббота», то есть это было 27 января 1901 года. Возможно, в этом отеле и останавливался Чехов. Это был третий приезд писателя в Италию.

28 января Чехов со товарищи — уже во Флоренции, намереваясь пробыть здесь пару дней. «Одно скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил, — восклицал он а письме Ольге. — А в комнате у меня холодильник такой, что надел бы шубу, если бы она только была». Он удивлялся, что здесь «неистовый холод, снег и — нет печей». Писатель не приминул посетить местный театр, нашел первую пьесу «очень и очень скучной», ушел из театра, но собирался пойти на вторую. «В театре рутина, актеры недурные; публика сидит в шляпах», — отметил он. Зато гостиничный номер «очень хороший, здесь стоит 3 франка, еда тоже дешевая, а вино при обеде дают даром» (номер в Ницце, для сравнения, стоил 11—12 франков. — Д. К.). Установить название отеля пока не удается, но, судя по разысканиям автора, им мог стать отель «Вашингтон» (ныне не существующий) на набережной Американо-Империо, популярный в те годы у русских. Между прочим, именно здесь в начале 1890 года П. И. Чайковский «залпом», в 44 дня, написал в эскизах все четыре картины «Пиковой дамы», своего любимого детища.

«Ах, какая чудесная страна эта Италия! Удивительная страна! — не уставал восхищаться Чехов в письме Ольге уже из Рима (2 февраля). — Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным. Итак, я в Риме». Путешественники остановились в отеле с довольно странным названием — «Grande Hôtel de Russie et des Îles Britanniques». В один из дней писатель вместе «с одним русским семейством и двумя очень милыми барышнями» вновь осматривал древний Рим. Пояснения давал сам профессор В. И. Модестов, знаток Древней Италии и итальянского языка. В первый день Великого поста (то есть 6 февраля) путешественники попали в собор Святого Петра в Ватикане на процессию. Ковалевский вспоминал: «Выходя из храма, я спросил Чехова: „А как бы Вы изобразили эту процессию в Вашем рассказе?“ — „Что сказать о ней, — ответил он, — самое большее: тянулась глупая процессия“»⁵.

В упомянутом письме Ольге Чехов поделился планами дальнейшего путешествия: поехать в Неаполь, а затем из порта Бриндизи (на самом юге Италии) отплыть на остров Корфу («просижу на Корфу с неделю») и далее добраться морем в Ялту «на великолепном пароходе Австрийского Ллойда». «Видишь, дуся, как я умею путешествовать! — похвалялся писатель. — Этак ездить с места на место и на все глядеть гораздо приятнее, чем сидеть дома и писать, хотя бы для театра. Мы, т. е. я и ты, поедем вместе в Швецию и Норвегию... Давай? Будет о чем вспомнить под старость. Я теперь совершенно здоров, совершенно, моя милюся. <...> Ты была в Италии? Кажется, была. Значит, понимаешь мое настроение».

Но как это часто было в жизни писателя, его мечты о новых путешествиях часто опережали возможности.

В Риме Чехову передали сразу два письма от юной знакомой (почитательницы и переводчицы) Ольги Васильевой. Она решила продать доставшуюся ей в наследство усадьбу с вишневым садом в Одессе и потратить часть вырученных денег на благотворительность — строительство больницы для лечения кожных заболеваний. Ольга просила совета и помощи писателя в этом деле. Чехов откликнулся немедленно (2 февраля): «Только Вы не торопитесь, будьте хладнокровны, успеете продать. Я буду в Одессе проездом, наведу там справки и буду писать Вам, и, быть может, отыщется

⁵ Чехов в воспоминаниях современников. М. М. Ковалевский. М.: Захаров, 2005, с. 524.

там, в Одессе, какой-нибудь знающий человек, который скажет, сколько стоит Ваше имение, и который поучит, как Вам продать его повыгоднее».

Мог ли он предполагать, к каким творческим последствиям приведет его участие в этом богоугодном деле?

3 февраля в Риме писателя нагнала наконец (через Неаполь) одна из телеграмм Немировича-Данченко о состоявшейся 31 января в МХТ премьере «Трех сестер». В ней тот кратко сообщал об успехе — об овации по окончании, об «исключительно хорошей» игре артистов, «особенно дам». В пришедшем вскоре номере «Нового времени» Чехов вычитал, что его любимая отличилась, «играла лучше всех». Об этом он сам сообщил ей в письме от 7 февраля. Кстати, специалисты считают, что роль Маши, а затем и Раневской стали вершинами на длинном творческом пути О. Л. Книппер-Чеховой. Думается, большую роль в этом сыграло эмоциональное состояние актрисы, ее любовь к человеку и писателю А. П. Чехову. Ну и, конечно, точные советы автора.

Писатель понял, что «труба зовет», зовет домой. «Милая моя, часа через два я уезжаю на север, в Россию, — продолжал он в письме Ольге. — Очень уж здесь холодно, идет снег, так что нет никакой охоты ехать в Неаполь. Итак, пиши мне теперь в Ялту. От тебя ни одного письма насчет представления „Трех сестер“». Думается, Чехов догадывался, что не может быть так уж все гладко, как сообщали близкие люди. Он хотел слышать и другие мнения, чтобы, может быть, еще «пошлифовать» пьесу.

Надо сказать, что критиков нового творения драматурга было немало. Л. Н. Толстой, обожая Чехова как прозаика и как человека, считал, что его пьесы «никуда не годятся», а «Трех сестер» он «не мог дочитать до конца». Пьеса определенно не понравилась Суворину, который посмотрел ее год спустя. Первоначально не понял пьесы и молодой критик и литератор А. В. Луначарский, всегда относившийся с большим пиететом к мэтру, но написавший тогда о безволии героев «Трех сестер», о «провинциальных страдальцах», которые «льют тихие слезы» и говорят сами про себя: «это мы, это мы такие красивые, утонченные, и мы так гибнем, как цветы от стужи!»⁶

Тем не менее пьеса получила в январе 1902 году Грибоедовскую премию как лучшее драматическое произведение прошедшего сезона. Хотя из переписки с В. М. Лавровым, редактором «Русской мысли», выяснилось, что тому для печати в журнале был передан (из МХТ) не самый последний вариант пьесы с правками автора.

11 февраля Чехов телеграфировал Ольге из Волочиска на границе с Австро-Венгрией, что едет в Ялту, а в Одессе остановится в гостинице «Лондон». Любопытно, что известного писателя обыскали на таможне, что являлось нарушением правил Российской империи, поскольку тот являлся почетным академиком и был награжден орденом Святого Станислава.

Неожиданно для себя Чехову пришлось задержаться в Одессе: по причине бурного моря суда четыре дня не ходили ни в Ялту, ни в Севастополь. В большом городе (в то время четвертым по численности населению — после столицы, Москвы и Варшавы) было чем заняться. Но прежде всего он выполнил обещание Ольге Романовой: поехал на Торговую улицу, что над морем, и осмотрел имение с домом и обширным садом, предназначавшееся к продаже. А потом посетил редакцию «Одесских новостей», тогда одну из центральных газет России, где опытные люди из торгового отдела подсказали, что это имение может стоить гораздо дороже, но не сегодня. И уже из Ялты написал Васильевой (27 февраля): «Что касается одесского дома, то лучше всего обождать немного, обождать хотя один год, хотя полгода. Нужно, чтобы Вы сами побывали в Одессе и убедились в том, что Ваш дом и место около него стоят не 125 и не 200 тысяч, а не менее 300».

⁶ А. Луначарский. О художнике вообще и некоторых художниках в частности. Русская мысль, 1903, № 2, 2-я пагинация, с. 58–60 // Цит. по ПССиП, 13, примечания, с. 453.

Ночью 16 февраля Чехов наконец добрался до своего ялтинского дома и сообщил сестре: «Не спал и ничего не знаю насчет Москвы, насчет пьесы и проч. и проч.» А четырьмя днями позднее отписался Ольге: «Я уехал из Италии так рано по той причине, что там теперь снег, холодно и потому что стало вдруг скучно без твоих писем, от неизвестности. Ведь насчет «Трех сестер» я узнал только здесь, в Ялте, в Италию же дошло до меня только чуть-чуть, еле-еле. Похоже на неуспех, потому что все, кто читал газеты, помалкивают и потому что Маша в своих письмах очень хвалит. Ну, да все равно. <...> В Ялте тепло, погода хорошая, в комнатах уютно, но в общем скучно. Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день».

Писатель отдыхал, «отогревался», как писал он сам. Он не знал, что это было последнее его путешествие по собственной воле.

Вместо заключения

Впрочем, Чехов еще один раз побывал в Европе, в 1904 году, но уже не в путешествии. 1 мая он покинул свой дом в Ялте, находясь в «развинченном состоянии» (по собственному признанию). «Здесь же оставаться нельзя: и расстройство желудка, и актеры, и публика, и телефон, и черт знает что», — написал он жене еще 15 апреля. К этому добавилась и сильная одышка («Какая у меня одышка!») — признак сердечной недостаточности. Но почему-то это относили к эмфиземе (расширению) легких. И даже в дни до отъезда Чехов старался при первой возможности работать: правил корректуру своей последней пьесы «Вишневый сад» для издательства Маркса, постоянно писал письма разным адресатам.

В Москве не стало лучше — весь месяц пролежал в постели («ни разу не одевался, не выходил») под ежедневным присмотром врачей («обстоятельный катарисше кишок и плеврит»). Для облегчения болей иногда приходилось использовать наркотики. Писатель Н. Д. Телешов вспоминал:

Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу. <...>

Я уже знал, что Чехов очень болен, — вернее, очень плох, — и решил занести ему только прощальную записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем «умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить.

— Умирать еду, — действительно говорил он. — Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде»⁷. Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся.

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах⁸.

⁷ Литературный кружок писателей (1899—1916), собиравшийся по средам у писателя.

⁸ Чехов в воспоминаниях современников. Н. Д. Телешов..., с. 606.

Несколько оправившись, 30 мая писатель с женой совершил поездку в экипаже по Тверской. Она оказалась прощальной. Перед отъездом Чехов тем не менее обещал друзьям «в августе или даже ранее быть дома» и еще «поудить трехпудовых осетров» в Подмоскowie, где он хотел снять дачу. Однако Ольга Леонардовна была очень обеспокоена: «Очень мне тяжело это время, рисуются страшные картины. Ну, бог милостив, поправится Ант. Павл., за границей. Одна радость — он теперь стал лечиться и слушается доктора. Это, кажется, первый раз в жизни», — сообщала она своим родственникам 28 мая.

По совету врачей-немцев, которым доверился он сам и, особенно, жена, писатель 3 июня вместе с ней отправился на лечение в Германию — через Берлин в Баденвейлер. Из Берлина, где чета остановилась на три дня, он написал сестре, по обыкновению, бодрое послание (6 июня): «Ехал хорошо, приятно. Здесь в Берлине заняли уютный номер в лучшей гостинице, живу я тут с большим удовольствием и давно уже не ел так хорошо, с таким аппетитом, как здесь. Хлеб здесь изумительный, я объедаюсь им, кофе превосходный, про обеды уж и говорить нечего. Кто не бывал за границей, тот не знает, что значит хороший хлеб. Здесь нет порядочного чаю (у нас свой), нет закусок, зато все остальное великолепно, хотя и дешевле, чем у нас. Я уже отъелся и сегодня даже ездил далеко в Тиргартен, хотя было прохладно. <...> Вчера пил чудесное пиво».

В следующем письме сестре Herrn Anton Tschechow («так мою фамилию печатают здесь на моих книжках») сообщал: «В Берлине немножко холодно, но хорошо. Самое нехорошее здесь, резко бросающееся в глаза — это костюмы местных дам. Страшная безвкусица, нигде не одеваются так мерзко, с совершенным отсутствием вкуса. Не видел ни одной красивой и ни одной, которая не была бы обшита какой-нибудь нелепой тесьмой. Теперь я понимаю, почему московским немцам так туго прививается вкус. Зато здесь, в Берлине, живут очень удобно, едят вкусно, берут за все недорого, лошади сытые, собаки, которые здесь запрягаются в тележки, тоже сытые, на улицах чистота, порядок. <...> Ноги у меня уже не болят, ем превосходно, сплю хорошо, катаюсь по Берлину; только вот беда: одышка. Сегодня купил себе летний костюм, егерских фуфаяк и проч. и проч. Гораздо дешевле, чем в Москве».

Тем не менее состояние писателя было удручающим. Корреспондент «Русских ведомостей», встретивший его в Берлине, вспоминал: «Я лично в Берлине уже получил впечатление, что дни А. П. сочтены, — так он мне показался тяжелобольным: страшно исхудал, от малейшего движения кашель и одышка, температура всегда повышенная. В Берлине ему трудно было подняться на маленькую лестницу Потсдамского вокзала; несколько минут он сидел обезсиленный и тяжело дыша <...>. А. П. производил впечатление серьезно больного, но никто не думал, что конец его так близок»⁹.

В Баденвейлере Чехову поначалу понравилось. Этот уютный курорт близ границ со Швейцарией и Францией в окружении гор Шварцвальд и густых лесов славился еще с римских времен своими лечебными водами, целебным воздухом и мягким климатом. «Badenweiler очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе, — делился он своими впечатлениями с Соболевским. — Масса зелени, впечатление гор, очень тепло, домики и отели, стоящие особняком в зелени. Я живу в небольшом особняке-пансионе, с массой солнца (до 7 час. вечера) и великолепнейшим садом, платим 16 марок в сутки за двоих (комната, обед, ужин, кофе). Кормят добросовестно, даже очень. Но, воображаю, какая здесь скука вообще!» Опять придираясь к местным вкусам, особенно немецких дам, писатель тем не менее отмечал, что «по хозяйственной части они молодцы, достигли высот, для нас недосягаемых». В этом письме писатель изобрел формулу, которой пользовался потом едва ли не в каждом письме: «Здоровье мое поправляется, входит в меня пудами, а не золотниками».

⁹ Г. Б. Иоллос. Последние минуты. Русские ведомости, 9 июля 1904 г., № 189, с. 2.

Лечил Чехова по московской рекомендации местный доктор Шверер — «хороший врач, умный и знающий». Он назначил строгий режим, жесткую диету. «Во всем этом много шарлатанства, — скептически оценивал писатель, — но много и в самом деле хорошего, полезного, например овсянка. Овсянки здешней я привезу с собой» (в письме Марии, 16 июля). Но с течением времени, особенно когда начинались дожди, настроение менялось (в том же письме): «Я живу среди немцев, уже привык и к комнате своей и к режиму, но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 час. утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее, а про итальянскую или французскую и говорить нечего». Что же касается здоровья, то, как обычно, попросту лукавил перед сестрой: «Здоровье мое поправилось, я, когда хожу, уже не замечая того, что я болен, хожу себе и все, одышка меньше, ничего не болит, только осталась после болезни сильнейшая худоба; ноги тонкие, каких у меня никогда не было. Доктора немцы перевернули всю мою жизнь».

День ото дня росло раздражение, судя по письмам: «Дела мои ничего себе, только Баденвейлер стал надоедать, уж очень много здесь немецкой тишины и порядка. В Италии иначе. Сегодня за обедом подавали вареную баранину, что за кушанье! Обед весь великолепен, но у метрдотелей такие важные морды, что становится не по себе. <...> Лечение мое мало чем отличается от московского. То же глупое какао, та же овсянка» (Марии, 21 июня).

Чехов метался в поисках удобного «гнезда» — из фешенебельного отеля «Ремербад» брезгливые бюргеры его «попросили» (из-за чахоточного кашля), «обывательская» вилла «Фридерике» не понравилась, наконец переехали в отель «Зоммер», в котором вселились в комнату с балконом на втором этаже. Днем он часто сидел в кресле на балконе, обозревая курортную жизнь, спускаясь лишь к обеду и ужину (завтракали в номере) или чтобы прогуляться в саду. В эти дни, особенно поначалу, вместе с женой они почти ежедневно ездили в коляске по окрестностям. Дорога среди цветущих вишен, аккуратные лоскуты полей, уютные домики — все это умиляло Чехова, он вздыхал: «Когда же у нас так мужики будут жить!» Ольга Леонардовна была все время рядом, лишь изредка отлучалась к дантисту в близкий швейцарский Базель и съездила в соседний Фрейбург, чтобы заказать мужу летний костюм из фланели.

Однако не прошло и недели после приезда, как Чехов начал подумывать, «как бы удрать», может быть, через Триест или Марсель напрямик в Ялту или, как вариант, в Северную Италию, на возделенное озеро Комо. Он опасался, что возвращение поездом ему просто не выдержать ввиду «жестокой жары», которая разразилась тогда на юге Европы.

26 июня, за неделю до трагической развязки, он написал сестре: «Милая Маша, все благополучно, только очень однотонно и потому скучно; <...> стало очень жарко, так что пришлось фуфайку заменить сеткой. Здоровье мое становится все лучше, крепче, ем я достаточно. <...> И ночи здесь теплые. Спим с открытыми окнами, с жалюзи. Кстати сказать, я уже сплю хорошо, как и прежде, очевидно, дела мои по части здоровья пошли на поправку по-настоящему».

И 28 июня — откровенное, последнее в эпистолярном наследии писателя послание коллеге, однокашнику по университету Г. И. Россолимо: «Берите перо и пишите мне, в какой день пароход выходит из Марселя и в каком часу, сколько дней идет до Одессы, в какой час дня или ночи приходит в Одессу, можно ли на нем иметь комфорт <...>. Мне главным образом нужны спокойствие и все то, что страдающему одышкой потребно. Умоляю Вас, напишите! <...> У меня все дни была повышена температура, а се-

годня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу, т. е. не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу. Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а легкого платья у меня нет, точно в Швецию приехал. <...> Что за отчаянная скучища этот немецкий курорт Баденвейлер!»

29 июня, во вторник, состояние Чехова резко ухудшилось. Доктор Шверер написал позднее в местной газете, что «даже после ужасающего припадка во вторник состояние сердца еще не внушало больших опасений, потому что после впрыскивания морфия и вдыхания кислорода пульс стал хорошим, и больной спокойно заснул». А до наступления кризиса он вообще был уверен, что жизнь господина Чехова «еще продлится несколько месяцев»¹⁰.

Ночью Чехов плохо спал, бредил... Днем сидел в подушках, потому что лежа задыхался... Следующую ночь не мог заснуть и попросил морфия. 1 июля, в четверг, Чехов почувствовал себя сравнительно хорошо, пульс и аппетит, по словам доктора, были удовлетворительны. Он пересел в кресло, раскладывал пасьянс. А вечером поделился с женой идеей рассказа: богатые курортники — румяные от дневных прогулок, нагулявшие аппетит — ожидают ужин, по обыкновению вкусный, плотный; время идет, ужин запаздывает, и вдруг — о, ужас! — выясняется, что повар-то сбежал...

В ночь на 2 июля (пятница) разразился новый кризис: Чехов мучился от приступов удушья, просыпался, засыпал, опять бредил, упоминал какого-то матроса, японцев. Приближалась трагическая развязка...

Точнее всего она отразилась в памяти двух главных свидетелей¹¹.

Доктор Шверер, вскоре после кончины Чехова:

Только в ночь с четверга на пятницу, когда после первого камфарного шприца пульс не поправился, стало очевидным, что катастрофа приближается... Спал хорошо до часу ночи, это уже начиналось 2 июля, проснулся от сильного удушья, и разразилась катастрофа <...> Он лечился у меня три недели, но в первый же день, осмотрев его, я выразил опасение в связи с его больным сердцем, которое значительно хуже легкого. Господин Чехов был удивлен: «Странно, но в России никто и никогда не говорил мне о больном сердце». Он не поверил мне, я это понял... Он, видимо, замечательный писатель, но очень плохой врач, если решился на различные переезды и путешествия. При его тяжелейшей и последней форме бугорчатки легких надо было сидеть в тепле, пить теплое молоко с малиной, содой и наперстянкой и беречь каждую минуту жизни. А он мне все рассказывал, что в последние три года объездил пол-Европы. Сам себя и загубил... Он переносил свою тяжелую болезнь, как герой. Со стоическим, изумительным спокойствием ожидал он смерти. И все успокаивал меня, просил не волноваться, не бегать к нему часто, был мил, деликатен и приветлив»¹².

Любопытно отметить, что в этих воспоминаниях нет ни слова о бокале шампанского, который немецкий доктор поднес умирающему коллеге. Каков был смысл этого действия? «Встряхнуть», стимулировать больного в критическую минуту? Или об этом попросил сам Чехов, чего окружающие не слышали? Почти столетие спустя после смерти писателя, в 90-х годах прошлого века, появились утверждения, что это был некий

¹⁰ Цит. по: Дружинский В. Болезнь и смерть Чехова // <http://hov.niv.ru/chehov/bio/bolezn-i-smert.htm>

¹¹ Был и третий свидетель — студент Лев Рабенек. Спустя 54 года он тоже написал воспоминания о кончине писателя (Лев Рабинек. Последние минуты Чехова // Возрождение. Париж. 1958. N 84. С. 28–35). Хотя они и содержат ряд важных деталей (например, О. Л. якобы не сразу поняла, что ее муж умер), но в целом вторичны, сориентированы на уже опубликованные воспоминания доктора и жены.

¹² Цит. по: Дружинский В. Болезнь и смерть Чехова...

«русский и немецкий врачебный этикет», знак признания бессилия доктора перед смертью коллеги, то есть исчерпанностью всех возможных средств.

Однако предпринятые автором (и не только им) разыскания не привели к находке сходных фактов. Эти утверждения о «врачебном этикете» походят на красивую, но все-таки выдумку. Историки медицины и действующие медицинские светила в беседах подчеркивали, что испокон веков врач везде и всегда (со времен Гиппократов) призван был бороться за жизнь пациента до последнего вздоха, даже надеясь на чудо. А подобный ритуал скорее может быть характерен для масонов или средневековых рыцарей.

Литературно обработанные воспоминания О. Л. Книппер-Чеховой были собраны воедино много позднее, в 1921–1933 годах:

В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спальном отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас среди давящей тишины июльской мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку...

Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «Ich sterbe...»¹³

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского...», покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда... И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Ушел доктор, среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского... Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и донеслись звуки органа из ближней церкви. Не было звука людского голоса, не было суевты обыденной жизни, были красота, покой и величие смерти...¹⁴

Утром 5 июля 1904 года гроб с телом писателя отбыл в Петербург в прицепном вагоне. На границе гроб перенесли в другой вагон, «родной», с неуместной, оскорбляющей надписью на боку: «Для перевозки устриц».

Чехов отправился в очень далекий путь.

Великий писатель земли Русской отправился в свое последнее путешествие — в бессмертие.

¹³ Я умираю (нем.).

¹⁴ Чехов в воспоминаниях современников. О. Л. Книппер-Чехова..., с. 712.